

Николай Добролюбов

**Нечто о дидактизме в
повестях и романах**



Николай Александрович Добролюбов

Нечто о дидактизме в повестях и романах

Эта небольшая заметка, которую Добролюбов, по-видимому, даже не пытался опубликовать, имеет важное значение для характеристики его эстетических взглядов: она представляет собой рассуждение по основным проблемам эстетики – вопросу об общественном назначении искусства и его специфике как формы общественного сознания. Выступая за искусство содержательное, Добролюбов вместе с тем доказывает, что подмена художественной идеи публицистической лишает произведение общественного значения, так как воздействие искусства на человека определяется особой – образной формой выражения.

Содержание

#1	0005
Примечания	0022

**Николай Александрович
Добролюбов
Нечто о дидактизме в
повестях и романах**

Известен анекдот о живописце, который непременно хотел нарисовать льва, но вместо того все выводил собаку и наконец, в отчаянии от неудачных усилий, решился поправить дело, подписавши под своей собакой: «Это не собака, а лев». Недавно один из лучших наших беллетристов вздумал подражать этому рисователю и, сочинивши рассказ, в котором набросал несколько прекрасных картин природы и умилительных мыслей о приятностях сельской жизни, приписал на последней странице: «В этом рассказе я хотел доказать следующую мысль...» и т. д. {1}. Мы не станем разбирать его мысли; но самый прием этот привел нас в несказанное изумление. Однако же, приписавши это единственно капризу автора, мы успокоились. К удивлению нашему, через месяц в том же самом журнале, где была помещена повесть старавшегося доказать и пр., нашли мы произведение другого из лучших наших беллетристов, который, представивши нам полную картину жизни одного человека от детства до заката, в заключение тоже написал две красноречивых страницы о значении характера, им

изображенного, и о том, откуда они берутся и как образуются{2}. В то же время попалась нам книжка другого журнала, где в заключение одной повести третий из лучших наших беллетристов говорит: так вот как осторожно надобно обращаться со словом: если бы в моей повести не было сказано того-то, то и того-то не было бы, и т. д. В третьем журнале в то же время четвертый из лучших наших беллетристов поместил комедию, в которой одно лицо беспощадно резонерствует за автора и, таким образом, играет роль хора древней трагедии{3}. Это заставило нас призадуматься. Мы заглянули в четвертый журнал и, к ужасу, нашли в нем роман, похожий скорее на разбор романа, нежели на роман{4}, потому что в нем – если на одной странице представлено страдание человека, то на следующей непременно доказывается, что это автор хотел страдание изобразить, что это есть именно страдание, а не радость, хотя это и похоже на радость, и т. п. Такое повсюдное: «это не собака, а лев» – чрезвычайно смутило нас и заставило оглянуться назад. Мы раскрыли прошлогодние журналы, перечитали десятки из

<произведений> лучших наших беллетристов – и, к безмерному огорчению своему, нашли, что – уввы! – весьма малое количество наших повестей, рассказов и романов обошлось без этого морального хвостика, который иногда так далеко заходит в рассказ, что составляет весь позвоночный столб его. Хотя иногда нравственный вывод повести, как в басне известного немца, состоит только в том, что один был великодушнее другого, а второй был великодушнее первого, но все-таки автор не может обойтись без нравоучения, особенно если он один из лучших наших беллетристов и, следовательно, приобрел уже некоторое право поучать других. Стараясь объяснить себе это явление, мы припоминали, между прочим, историю литературных мнений наших и нашли, кажется, ключ к разгадке. Дело в том, что некоторые умные люди пустили в ход истину, что в основание каждого литературного произведения должна быть положена *идея*, что оно не может довольствоваться одной внешней занимательностью, а должно иметь еще и внутреннее значение. Некоторые из лучших наших беллетристов

тотчас смекнули, в чем дело, и сообразили, что если до сих пор творения их походили на сказки, то теперь нужно постараться приблизить их к басням. А как в баснях всегда есть нравоучение, то и в повести не мешает приставить его в назидание читателя. Так это мало-помалу и вошло в обычай, – как вошло лет за восемь пред сим – не печатать стихов в журналах, а теперь опять вошло в обычай – не выпускать ни одного номера без стихов. Почему это – господь один ведает... Принято, да и кончено... Говорят, впрочем, в дидактизме наших повестей и романов отражается серьезный взгляд на литературу, которая должна быть проводником благородных идей и светлых воззрений в общество; говорят, что в этом обнаруживается благотворная перемена в нашем взгляде на искусство, ибо, дескать, мы поняли теперь, что оно не есть праздная забава, что оно не должно только пленять, что цель его гораздо высшая – служить обществу, подвигать народ на пути его развития, возбуждать людей к истине и добру. Все эти мысли, если только они хорошо поняты теми, которые их высказывают, доказывают, что

высказавшие их гораздо лучше понимают сущность дела, нежели те, которые пытаются осуществлять эту теорию на практике. Попробуем в самом деле посмотреть, действительно ли нравственные сентенции в повести возвышают искусство и придают произведению серьезное значение и можно ли смешивать роман с проповедью на том основании, что цель искусства – служение жизни?

Прежде всего цель, с которой пишутся все подобные объяснения и рассуждения, – совсем не достигается. Впечатление не только не делается от них сильнее, но еще ослабевает, а часто, что всего досаднее для читателя, все очарование рассказа исчезает. Кто-то уже заметил, но мы повторим здесь, что это весьма походит на обращение актера к зрителям во время игры. В водевилях такие проделки сходят с рук. Но вообразите, что в то время, как вы в театре растроганы чуть не до слез трагической судьбою какого-нибудь героя, актер, играющий его, вдруг обратится к вам и скажет: «Это я, господа, хотел возбудить в вас жалость!..» Или – что, произнесши несколько слов нетвердым, нерешительным голосом, ак-

тер закричит публике: «Не подумайте, господа, чтобы я не знал роли; нет, это я нарочно произнес так, чтобы показать нетвердость моего решения. Эти слова именно должно было произнести так». На театре это было бы очень смешно, в всякий ясно видит это. Отчего же в литературе это не смешно?

Условия здесь решительно те же. Принимая на себя высокую обязанность поучать нас, – не надевайте же длиннополого семинарского сюртука, не подвязывайте себе косы, не берите в руки указки: в этом виде вы будете только смешны – и все ваше поучение пропадет даром, как бы оно ни было справедливо и убедительно. Но смех, как бы ни был неуместен, все-таки еще безвреден. А есть в этих дидактических обращениях к читателям и весьма вредная сторона. Они показывают неуважение к читателю, оскорбляют его и могут, наконец, сообщить литературе совершенно превратное направление. Что мы хотим себе почерпнуть в повести? Неужели назидание? Неужели правильный взгляд на жизнь и природу? Неужели какие-нибудь нравственные теории? Ничего не бывало... Прежде всего мы

ищем в повести наслаждения для чувства, и потом ценим ее как предмет для размышления... Повесть может просто доставить мне отдых, и это уже заслуга для ее автора. Во всяком случае, отдых этот будет благороднее, изящнее и плодотворнее, нежели всякого рода коммерческие и некоммерческие игры или даже невинные упражнения вроде пересчитыванья фамилий в адрес-календаре, вырезыванья из бумаги безобразных человечков, развешивания картинок по стенам, выписывания своей фамилии разными почерками на белом листе бумаги и т. п. И в этом случае, конечно, неприятно встретить трактат вместо рассказа, психологию вместо самой души, правила морали вместо жизни. Да я скорее стану фамилии считать, нежели читать такой рассказ: тут хоть припомню что-нибудь об известной мне фамилии, да, если угодно, и нравственными сентенциями сумею начинить свои воспоминания.

Но для многих изящная литература служит не одним развлечением, а предметом серьезных занятий. Эти люди нуждаются в том, чтобы она представила им другие виды, дру-

гие лица, другую жизнь, нежели какую представляет им окружающая их действительность. Здесь им все так надоело, все кажется таким скучным и пошлым, все тянется так однообразно, все так поражает вялостью и бесцветностью. Эти люди берутся за книгу как за лекарство от томящей их скуки однообразия; они хотят забыться на минуту, хотят перенестись в другие места, в другую жизнь, где все им ново, все их занимает, все производит в них ощущения, дотоле им незнакомые... Не смейтесь над этим классом читателей, не думайте, что им можно предоставить сказки о бабе Яге и Еруслане Лазаревиче. Нет, они не удовлетворятся не только подобными произведениями неопытной фантазии народных грамотеев, но даже и творениями гораздо более опытной смышленности гг. Зотовых, Масальских, Воскресенских и др. {5}. Это большей частью люди с умными и благородными стремлениями, но несколько или весьма мало развитые, затертые в задние ряды окружающими их тузами и parvenus [1], измельчавшие среди мелких интересов общества, в котором они живут, опустившиеся в грязь и ти-

ну зловредного болота, в которое попали по обстоятельствам, задыхающиеся от ядовитых испарений, которыми наполнен вдыхаемый ими воздух. Этих людей много, очень много еще у нас, и они вполне достойны того, чтобы для них в особенности литература делала все, что только может... Для человека, забитого жизнью, из ряда литературных произведений может составиться свой особенный мир, в котором он будет находить и людей, сочувствующих себе, понимающих его стремления, и людей, высоко стоящих над ним и простирающих ему руку помощи, и людей, которые еще ниже его и которым даже он может показать дорогу. Здесь найдет и друзей себе, которых тем более оценит, что они останутся неизменны, а он сам себе их выберет, по своему вкусу; найдет и врагов своих, выведенных на свежую воду, – и тем, может быть, облегчит горе и досаду, накипевшие в груди его... Эта жизнь, этот мир, эти стремления, им неизведанные, но знакомые, родные ему по смутным предчувствиям, заронившимся в душу еще в блаженные годы простодушного детства, этот мир, обрисованный теперь вер-

но, ярко, поэтически, представленный ему во всей своей привлекательной и потрясающей правде, наверное подействует благотворно на его развитие, разбудит в его душе благородные инстинкты, расширит его взгляды, придаст ему новые силы для деятельности честной и полезной. Здесь увидит он, как ничтожен тот призрак, который до того он брал, может быть, за образец совершенства, как жалки убеждения, как мелки интересы, как низка и пошла природа тех, кого он привык, может быть, уважать как авторитеты. Но что же? Вместо всего этого человек находит в новом рассказе нравственные сентенции да психологические отвлеченности, по которым кричит или молчит, плачет или смеется герой его. Кому нужно все это? И кого может это интересовать? Мы все слышали довольно проповедей, мы все изучали курсы наших обязанностей, духовные и гражданские. Но вот в том-то и беда, что мы ограничивались только изучением... Мы всегда знаем, что нам следует делать, — но это знание чисто внешнее, принятое на слово от других, оно бессознательно, оно не вошло в плоть и кровь на-

шу. Внутреннего убеждения в справедливости и необходимости того или другого у нас нет, а оттого, как скоро выходим мы из-под учительской ферылы и принимаемся жить своим умом, то сейчас же и начинаем жить, и наживаться, и пробиваться в люди совсем не по выученным правилам, а по своим собственным соображениям, которые, не имея прочного и благородного начала, большею частью не имеют другого руководства, кроме грубейшего эгоизма. И неужели выходка какого-то незнакомого, далекого от нас человека, как бы она ни была горяча и благородна, отвратит от порока того, кто связан с ним существеннейшими интересами жизни? И неужели она вошьет утешение и бодрость в человека, падающего под бременем неравной борьбы с житейской низостью и своекорыстием? Напротив, злой человек посмеется над краснобайством автора, а несчастный – ожесточится от этих жалких утешений, как ожесточится сын, услыша при гробе отца, что ругают различных людей, бывших причиною смерти отца его... Нет, никогда фразы, да и никакие чисто внешние влияния, не могут

исправить общество... И если можно чего-нибудь требовать от литературы, то это того, чтобы произведения ее вызывали на размышления. Вот когда достигнет она своего идеала и по справедливости присвоит себе серьезное значение в ходе нравственного развития народа; когда ее произведения не будут действительно праздными порождениями прихотливой фантазии, не будут теряться в ненужных описаниях платьев, чепцов, шпилек, булавок, мебели, ковров и т. п., когда не будут они нуждаться в заключении, которое бы показало, к чему вел автор речь свою; когда, прочитавши их, каждый будет задумываться серьезно и долго и со вниманием начнет всматриваться в жизнь свою; когда никто после чтения повести не будет иметь возможности ограничиться отзывом известного любителя литературы: «Славно пишет, канашка! бойкое перо!»... Вот когда будет делать свое дело наша литература. Заставьте же нас самих думать. Соберите в вашем типе, в вашем описании, в вашем рассказе, как в фокусе, все частные явления, мелкие черты, не уловимые обыкновенным взглядом особенности быта

или лица, осветите все это общей идеей вашей, так, чтобы она сквозила в каждом слове, в каждом движении избранного вами характера, в каждой строчке вашего описания; но бойтесь являться учителем, бойтесь высказывать нам, что вы хотите таких-то и таких-то совершенств и намерены казнить такие-то пороки. В этом случае самое лучшее будет, если вас просто не прочтут... Ну, а ежели прочтут, да еще и поверят вам?.. Ведь вы губите человека... Не убедившись хорошенько (потому что в повесть и нельзя ввести полного трактата), поверив только вашему авторитету, – он откажется от возможности иметь об этом свое мнение, он будет жить вашим умом и падет тотчас, если только вы его оставите... Нет, ради всего святого, *не внушайте* нам мыслей вашими повестями, не обращайтесь к нам с разглагольствованьями, скройте совсем, если можете, свою личность за своих героев и старайтесь только, чтобы впечатление вашего рассказа было глубже, полнее, продолжительнее. А для этого – больше действия, больше жизни, драматизма, – сколько можно меньше лирического и ничего, решительно

ничего ораторского!.. Мы сказали еще, что пояснения автора оскорбляют читателя... Да, он оскорбляется пояснениями автора уже и потому, что они прерывают его эстетическое наслаждение. Скажите, приятно ли вам, когда в итальянской опере исступленный раек вслед за прелестно исполненной арией оглашает театр хриплыми, нестройными криками «браво» и вызовами артиста, – хоть бы он пел эту арию в темнице или даже умирал, как только ее окончит?.. Приятно ли вам было бы, если бы, в то время как вы любуетесь прекрасной панорамой, перед вами вдруг отняли стекло и вы бы увидели грубо намалеванный ландшафт?.. То же самое чувство возбуждают пояснения и рассуждения автора в повести. Но в этом случае есть еще другая причина негодовать: это – оскорбленное самолюбие, даже больше, чувство собственного достоинства. Что мы, в самом деле, за дети, что нам всё будут толковать другие, как и что делать! Мы и сами умеем думать. И неужели мы не можем понять, в чем дело, и что хочет сказать автор, и кто прав, кто виноват, ежели он этого не благоволит решить нам?.. Если он

сам не умеет ясно представить дело, тогда опять – его вина, и никакие разглагольствия ее не поправят... Если же его изображение хорошо, больше ничего и не нужно: читатели сумеют познать доброе и лукавое, а тем, кто не познает, пусть лучше расскажет критика... А то – право, обидно, трактуют как мальчика лет пяти: расскажут историйку, да и скажут: вот, дескать, из этого научитесь, что воровать не должно, нужно слушаться старших, или что всякое звание почетно на своем месте... Господь с вами, гг. писатели! Да ежели только для этого вы трудились, так, право, хлопотать не стоило. Мы вас покорнейше благодарим, только, пожалуйста, избавьте нас от подобных истин: мы так давно уже их знаем, что они совсем опошлели для нас...

Так поэтому в беллетристике не может высказываться убеждение, не может быть произнесено горячее, правдивое слово? Разумеется, нет. К чему же это слово, вброшенное мимоходом в рассказ?.. Надо быть слишком самонадеянным, чтобы думать, что каждое мое слово имеет какую-то особенную цену и что оно может ворочать миллионами людей. Но

если один скажет слово, потом другой, третий... – что же?.. – Если сотня людей скажет по десять слов, составитя тысяча слов – и ничего больше... Может быть, это и хорошо – для словаря, но, уж конечно, никак не для жизни... Пора нам отставать от слов и переходить к делу... Что же касается до убеждения, то я не понимаю, зачем ему облекаться непременно в форму повести или романа... Для него и без того слишком много форм. Всего лучше – напишите рассуждение о предмете, который вас интересует, раскройте его подробно, рассмотрите со всех сторон, взвесьте все доказательства pro и contra, приведите всевозможные факты, свидетельства, соображения. Мы вам скажем спасибо, – и уж если согласимся с вами, так будем знать, как и почему мы согласились... Если думаете убедить словами, напишите, пожалуй, речь, письмо, разговор – словом, что угодно, только оставьте в покое поэзию. Ну, а сатира? Сатира остается... – Как же это так? По какому праву?.. Да опять потому, что она не имеет претензии рассуждать и убеждать, а просто посмеивается себе, да и только. Да и посмеивается-то не то чтобы над

тем, что вот-де есть на свете злые люди, а, например, над тем, что такой-то Иван Иванович каждое воскресенье кладет земной поклон, прося у бога помилования за свое взяточничество – которого все-таки не оставляет, – а такой-то Алексей Алексеич на вопрос: что он делает, отвечает: «Был-с в бельэтаже на Невском проспекте, там князь Б., мой приятель, живет...» Здесь, следовательно, образы, явления, – а но слова... Вся вообще лирическая поэзия имеет свое значение и нимало не портит дела, – по самой свободе и часто неуловимости впечатления, которое она часто производит. Найдется даже в нашей литературе довольно лирических пьес, после прочтения которых остается вам более обширное поле для размышлений, нежели после иного осмысленного романа, хотя бы к нему был приделан еще пролог в двух частях... – А басня что ж, наконец? – Басня?.. Это, по-моему, вещь очень хорошая для взрослых детей, и если она хороша сама по себе – то имеющая достоинство удачного сравнения.

Примечания

Условные сокращения

Все ссылки на произведения Н. А. Добролюбова даются по изд.: Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти томах. М. – Л., Гослитиздат, 1961–1964, с указанием тома – римской цифрой, страницы – арабской.

Белинский – Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. I–XIII. М., Изд-во АН СССР, 1953–1959.

БДЧ – «Библиотека для чтения»

ГИХЛ – Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч., т. I–VI. М., ГИХЛ, 1934–1941.

Изд. 1862 г. – Добролюбов Н. А. Сочинения (под ред. Н. Г. Чернышевского), т. I–IV. СПб., 1862.

ЛН – «Литературное наследство»

Материалы – Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861–1862 гг. (Н. Г. Чернышевским), т. 1. М., 1890 (т. 2 не вышел).

ОЗ – «Отечественные записки»

РБ – «Русская беседа»

РВ – «Русский вестник»

Совр. – «Современник»

Чернышевский – Чернышевский Н. Г.
Полн. собр. соч. в 15-ти томах. М., Гослитиздат, 1939–1953.

Впервые с неточностями – «Всеобщий ежемесячник», 1911, № 10, с. 105–112. Предположительно датируется мартом – апрелем 1856 г. (см.: I, 566–567).

Эта небольшая заметка, которую Добролюбов, по-видимому, даже не пытался опубликовать, имеет важное значение для характеристики его эстетических взглядов: она представляет собой рассуждение по основным проблемам эстетики – вопросу об общественном назначении искусства и его специфике как формы общественного сознания. Выступая за искусство содержательное, Добролюбов вместе с тем доказывает, что подмена художественной идеи публицистической лишает произведение общественного значения, так как воздействие искусства на человека определяется особой – образной формой выражения. Такой взгляд на искусство тесно связан с антиавторитарной этикой Добролю-

бова. Дидактизм в искусстве для него сродни дидактизму в вопросах этики и воспитания (см. далее статью «О значении авторитета в воспитании»): он так же тормозит самостоятельную работу мысли, в то время как подлинное искусство, не давая готовых выводов, активизирует душевные силы, способствует развитию личности. Близкие идеи Добролюбов высказывает в дневнике 19 января 1857 г., что давало основания для более поздней датировки статьи (см.: ГИХЛ, I, 664).

Сноски

1

Выскачками (*фр.*) – *Ред.*

[^^^]

[^^^]

Комментарии

1

Очевидно, речь идет о рассказе М. Л. Михайлова «Деревня и город» (*Совр.*, 1856, № 2), заключительная главка которого содержала риторические восклицания, подчеркивающие смысл рассказа.

[^^^]

2

Подразумевается повесть Д. В. Григоровича «Пахарь» (*Совр.*, 1856, № 3). По воспоминаниям А. А. Радонежского, Добролюбов «с жаром» доказывал ему «несостоятельность» повести (см.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. М., 1986, с. 120).

[^^^]

3

Речь идет о Надимове – герое комедии В. А. Соллогуба «Чиновник» (БДЧ, 1856, № 3).

[^^^]

4

Очевидно, имеется в виду роман «Последнее действие комедии» В. Крестовского (псевдоним Н. Д. Хвоцинской-Зайончковской; ОЗ, 1856, № 1, 2, 3), насыщенный подробными авторскими комментариями.

[^^^]

Негативный отзыв Добролюбова о произведениях М. И. Воскресенского см. также в рецензии на его «Повести и рассказы» и роман «Натasha Подгорич» (см. наст. т., с. 553–561).

[^^^]

[^^^]